

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Посторонние на репетиции Художественного театра не допускались, но я для театра — не совсем посторонний: сотрудник петербургских гастролей, к тому же меня пригласил автор пьесы.

Репетировали четвертый акт «На дне». В зрительном зале полутьма, свет только со сцены. За режиссерским столом — силуэты Немировича-Данченко, декоратора Симова, Саввы Морозова. Мы с Горьким — в двенадцатом ряду. Его пригласили сесть с режиссером — отказался.

— Будут глядеть на меня, как на барометр, — а у меня «переменно».

Действительно — «переменно»: то улыбается, то хмурится, то смотрит в сторону на фонарик «выход». После монолога Актера согнулся смахнуть слезу.

Пьеса закончена. Немирович-Данченко хлопает в ладоши — «заванес». Заванес остается открытым. Актеры и актрисы по мосткам спускаются в партер и сразу перестают быть теми, кого они только что изображали на сцене. Знакомые все лица: Станиславский, Качалов, Москвин, Книппер. Неприятно их видеть грязными, измазанными гримом, в лохмотьях. Жесты, голоса не вяжутся больше с наружностью.

Немирович-Данченко подходит к автору.

— Как вам сегодня понравилось?

Горький — глаза вниз, покручивает ус.

— Великолепно... Очень хорошо... А курить здесь можно?

— Не будет ли с вашей стороны каких-либо распоряжений?

Это Немирович-Данченко шутит, пародируя «Ревизора».

Горький — любезностью на любезность:

— Помилуйте! Распоряжаетесь здесь вы.

— Все ж таки?

— Я уже говорил... Мне очень нравится... Особенно Качалов. Только, знаете, немножко мрачновато. Чехов мне написал, что теперь все будут считать меня пессимистом... А какой же я пессимист? Вот живут в почлежке люди; живут — хуже нельзя, а все-таки люди. Не беда, что в лохмотьях. В лохмотьях человек виднее, чем, например, в мундире или во фраке. И из жалость, не сострадание, а уважение и страх, именно страх, должны возбуждать эти люди у вашей... этой... чортовой публики... А вдруг придут и скажут: дай-ка нам местечко, мы вас не хуже! Вот в чем дело-то. У вас же выходит... того... немножко на милостыню похоже... От богатств своих бедному — копеечку... Вот и Сатин тоже... Хорошо играет Константин Сергеевич, замечательно играет, но несколько неуверенно — про Человека... В мечтах... Через двести, триста лет по-чеховски... А человек-то вот он, пожалуйста, налицо... в каждом из нас... Пружина! Люди без нее скотам подобны. Я бы, знаете, не постеснялся подать его прямо в публику, как прокламацию. Погромче... Думаете, получится ненатурально? А чорт с ним, с натурализмом! Пускай им Боборыкин занимается... Кстати, они и похожи: оба лысые, беззубые и в очках...

Горький заметил, что их окружают актеры, прислушиваются.

— Впрочем, вам виднее... виднее.

Повернулся к актерам:

— Еще раз благодарю... очень... всех!

Раскланиваясь во все стороны, пошел к дверям на фонарик «выход».

* * *

— Надо бы еще сказать им про Луку, — говорил Горький, когда мы шли вдвоем по улице. — Неловко как-то говорить. Выходит — поучаю. Лука — пародия на Каратаева. Странно, как этого не замечают. Они и говорят одним языком. Вредный, по моему, человечек — Лука, а Москвин его играет божьим угодником, Тихоном Задопским. Не того был склада сей миролюб — ваш тезка. Этаким Франциском Ассизским... из Воронеза. Хорошо можно его написать. Достоевский пытался в «Карамазовых». Не

вышло. Перемудрил Федор Михайлович. А он, Тихон-то, прост, как ручей в лесу.

На углу Газетного и Никитской из пивной вышел долговязый обрванец в галочках на босу ногу, в резиновом макинтоше, а было холодно. Размахнулся дырявой шляпой, загорючил нам дорогу.

— Интеллигентному пролетарию, келькешиз... Ниш и убог! «Брат мой, страдающий брат», — задекламировал он, совсем как только что виденный нами на сцене Актер.

Горький сунул ему в руку какую-то кредитку.

— Мерцы! — сказал босаяк, взглядываясь в Горького, и, узнавши его, заорал:

— Максиму Хорькому — браво! Браво, Максим!

Горький схватил его за шиворот.

— Оставьте, чорт вас возьми!

Но было уже поздно: кто-то услышал, кто-то передал, один — другому, другой — третьему, третий — сразу пятерым. Имя Горького рассыпалось горохом по улице.

Шли люди, как люди, разговаривали — кто с соседом, кто сам с собой, иные спешили, иные шли вразвалку, разглядывая свое отражение в витринах, и вдруг точно все разом сошли с ума — на лицах восторг, рты разинули, толкаются, бегут через улицу на нашу сторону: «Горький! Горький! Горький!»

Из лавок и магазинов повыскакивали покупатели, приказчики, лабазники, кто-то из парикмахерской — недобрый. Завизжала затоптанная ногами собака, залаяли другие собаки, мальчишки на коньках, размахивая руками, несутся к месту происшествия, свистят, орут: «Горький, Горький!» Извозчики подкатывают к тротуару — узнать, кого бьют. «Где Горький?» — «Который? В макинтоше?» — «Да нет — то настоящий босаяк!» — «Алексей Максимовичу привет!» — «Слава русскому соколу!» — «Ур-ра!»

Толпа заполнила тротуар, перевалилась на мостовую: «Дайте пройти!» — «Что за шум!» — «Горького ведут в участок!» — «Безобразия!» — «Долой полицию!» — «Сам ты пьяный!» — «Ур-ра!» — Аплодисменты. От Никитских ворот трусцой поспешает городской, заранее свистит в горошину.

Горький таранит толпу, согнувшись, как против ветра. Руки затиснуты в карманы пальто, на лицо страшно взглянуть — жесткое, скуластое — монгол. Свернул в подъезд какого-то дома, крикнул мне:

— Держите дверь!

На подмогу мне подоспел дворник, черенком метлы загорючил вход.

— Куда лезете? Оглашенные! Тут частная владения!

На площадке второго этажа Горький остановился, держась за перила лестницы, спял калошу — вытряхнуть из нее снег.

— Вот она — слава!.. Видали, какая она есть? Запомните!..

Толпа у подъезда понемногу затихла. Слышались голоса полицейских: «Осади на местовую!»... «Некультурно, господа! Мешает движению!»... «Я т-те покажу Горького!»

Горький топал калошей об пол, чтоб глуше вошла.

— Вы, небось, думали — слава! Венки, лавры, фимнамы!.. А она — вроде пирожного — крем с мылом. Сам такими в Нижнем торговал. Попробуешь — сладко, а потом вытошнит!

На площадке поднялся околоточный, усатый, в светлой офицерской шинели, перетянутой широким ремнем, сбоку пашка, револьвер.

— Можете следовать по назначению, — сказал он скучным голосом и, спускаясь с нами по лестнице, добавил:

— На будущее я бы посоветовал вам, господин Горький, ездить на извозчике... Беспорядок производите... смугу!

А. ТИХОНОВ.